

Неочевидность достоверности: наброски к семиологии картографических изображений

КОНСТАНТИН ИВАНОВ

Институт истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова Российской академии наук (ИИЕТ РАН), Москва, Россия, ikv@ihst.ru.

Ключевые слова: картография; карта; граница; маршрут; семиология; семиотика; условный знак.

В статье предпринимается попытка проанализировать географические карты как особый тип семиологических систем. Семиологический переход осуществляется на примере двух картографических концептов, обозначаемых в вербальном языке как «маршрут» и «граница». Показывается, что и то и другое может быть рассмотрено как образцы специфических картографических «синтагм», «речевыми» эквивалентами которых выступают, соответственно, путешествие и разграничение. В качестве системных отличительных признаков указанных синтагм вычлениаются признаки метонимической доминанты у путешествия (маршрута) и метафорической доминанты у разграничения (границы). Очерчиваются зоны нарушения рубежа в оппозиции синтагма/система и приводятся примеры эстетизации картографических «высказываний», предусматривающей наделение синтагмы парадигматическими качествами, и наоборот. Определяются основные характеристики карт как фактов особой семиологической системы, к числу которых относятся произвольность, изолированность и то, что автор определяет как локоуникальность.

Рассматриваются типы семиотик, задействованных в картографировании. Показано, что поскольку означаемые карт сами являются семиотиками (коды, присваиваемые обитателями месту своего обитания), то большинство карт, изготовленных в рамках рутинной процедуры картографирования, не предполагающей какого-либо сверхцелевого использования, оказываются не чем иным, как семиологиями. В частности, означющие и означаемые карт выступают инвариантами в отношении вариантов означющих и означаемых элементов рельефа на местных языках. Из этого следует, что попытка семиологического описания карт на деле является не семиологией, а метасемиологией. Это проявляется, в частности, в том, что варианты маршрутов и границ в картографии приобрели в нашем исследовании статус инвариантов. Они стали опорными понятиями для определения двух осей языка (согласно модели Романа Якобсона) и позволили разделить картографические «высказывания» на две фундаментально несхожие категории, одна из которых тяготеет к метафоричности (парадигме), а другая — к метонимичности (синтагме).

Введение

КОГДА рассматриваешь старые карты, не покидает ощущение, что видишь перед собой руины предельно убедительной, но безвозвратно утраченной достоверности. Она распознается по тщательной прорисовке деталей, по истрепанности залистанных краев и сгибов, по истертости изображений, испытавших многочисленные прикосновения, но сумевших сохранить изящество контурных силуэтов — скорее угадываемое, нежели непосредственно прочитываемое. Пейтингерова ли это скрижаль с систематической зауженностью передаваемого географического контента в направлении меридиана, или один из листов Атласа Меркатора с обилием буквальных изображений гор, лесов и городов, даже не помышляющих о том, чтобы уподобиться условному знаку, или Чертежная книга Сибири Ремезова с отображением тотального доминирования сурового мира тайги над редко разбросанными, осторожными намеками на присутствие людских поселений — все это несет в себе следы долгой сосредоточенности, иноческого терпения и беззаветной увлеченности.

В момент изготовления этих карт вопрос о достоверности, безусловно, поднимался, но размещался вне тех смысловых зазоров, где мы склонны искать его сегодня. Современники картографов обладали прочно укорененным навыком восприятия карты, который подобно изошренному анаморфозному механизму превращал то, что сегодня кажется анархической мешаниной самых разных, не согласованных друг с другом форм визуализации, в осмысленную и в высшей степени выверенную, *достоверную* картину. Поэтому, чтобы понять смыслы и значимости элементов, из которых состоят карты, необходимо сосредоточить свое внимание не на том, *что* они отображают, а на том, *как* они это делают. Другими словами, режим восприятия в картографии обладает очевидным подчиняющим превосходством по отношению к тому, что, как нам кажется (но только кажется), является главным побудительным мотивом изготовления карт — попыткой воспроизвести с помощью графических элементов какие-либо фундаментальные аспекты окружающей нас реальности.

Какой-нибудь фундаментальный и прочный фрагмент реальности, — скажем, гора — не перестанет быть горой от того, что мы обозначим ее на карте. И ей будет более или менее безразлично, сделаем ли мы это с помощью иконографического профиля кротовой кочки, штриховкой по системе Лемана, отмывкой тушью или посредством замкнутых горизонталей. Однако в первом случае это будет означать то, что карта изготавливалась, скорее всего, в коммерческих целях каким-либо искусным гравером высокого Ренессанса или раннего Нового времени с одним или парой помощников-подмастерьев, чтобы быть проданной знатному вельможе, а источником сведений для нее являлись описания, рисунки и рассказы других людей; во втором и третьем — что карта, вероятно, чертилась на исходе XVIII столетия офицером квартирмейстерской службы после проведенной им же визуальной рекогносцировки и предназначалась для прокладки маршрута с указанием возможных путей преодоления горы как препятствия для продвижения пехоты, кавалерии и артиллерии; в четвертом — что исходное изображение делалось не раньше второй половины XIX века на планшете в ходе мензульной съемки одним из многочисленных прапорщиков военно-топографического отдела после предварительной триангуляции и построения геометрической сетки в той или иной географической проекции. Предполагалось также, что готовый планшет, после того как будут «подняты» все контуры и изогипсы, потерявшие надлежащий вид от долговременной работы в поле»¹, будет парадно обклеен зеленой шелковой ленточкой и сдан в засекреченный архив военно-топографического отдела, где, если в ходе той или иной «штабной игры» возникнет нужда поподробнее исследовать эту местность, он (наряду со многими другими планшетами) послужит исходным материалом, «сырьем» для изготовления карты любого требуемого масштаба.

Каждая из указанных графических систем обладала своей семантикой и своим синтаксисом, с точки зрения которых изготовленные картографические изображения были верными отображениями того, *что требовалось знать* об отображаемой территории, а отнюдь не ее уменьшенными копиями, как зачастую слегка самоуверенно утверждают сами топографы. Достоверность в картографии соотносится не с отображаемой материальной реальностью, а с режимом восприятия этой реальности, встроенным в сложные механизмы взаимодействия с нею. Карты — это отобра-

1. Витковский В. Топография. СПб.: Типография Ю. Н. Эрлих, 1904. С. 591.

жения не ландшафтов, а *антропогеоценозов*, артикулируемых посредством особых знаковых систем. При этом каждый знак, употребляемый при изготовлении карты, несет в себе два механизма порождения значения. С одной стороны, он является единством означающего и означаемого, то есть каким-то образом осуществляет переход к тому элементу артикулируемой реальности, который нас в данный момент интересует. С другой стороны, он является частью системы и пронизан соединениями горизонтальных связей, прочно удерживающих его внутри совершенно определенной совокупности других знаков и не значащих вариантов.

В настоящей статье мы попытаемся изложить свой взгляд на то, каким образом и в силу каких причин карты, под которыми мы будем понимать графические репрезентации обитаемых пространств, заняли такое прочное место в культуре евразийских оседлых обществ. Мы также попытаемся очертить обстоятельства выработки особых графических систем для регистрации, с одной стороны, отношений соседства людей друг с другом, с другой — отношений связи людей с местами своего обитания. Интересующая нас тема будет рассмотрена с точки зрения не столько внешних социальных изменений, сколько «внутренних логик» карт — пресловутых семантик и синтаксисов (с учетом всех оговорок относительно избыточной трансцендентности этих понятий, относящихся к традиционной лингвистике). Иными словами, мы попытаемся отыскать в картах оттенки имманентности, сближающие картографию не столько с историей, сколько с литературой. Их артикуляция, конечно же, не могла осуществляться автономно от изготовителей карт, вовлеченных в социальные процессы и «заряженных» социальными напряжениями. Однако, как мы постараемся показать, реальность картографических знаков и самого пространства карты являлась не столько пассивным «отражением» существовавших социальных порядков, сколько самостоятельным звеном в цепочках порождения значений, существенным образом влиявших на восприятие и действие как тех, кто изготавливал карты, так и тех, кто ими пользовался.

Маршруты и границы

Несомненно, карте что-то предшествует. Взаимодействуя с местом своего обитания и вступая друг с другом в отношения соседства, люди оставляют следы. Кроме того, их рецепция в отношении окружающего природного мира и других людей (а иногда и самих себя) с неизбежностью порождает наборы реакций, пусковым ме-

ханизмом которых являются возможно более недвусмысленно отличающиеся признаки и сигналы. И то и другое играет роль своеобразных означающих и участвует в механизмах порождения значений. Место обитания обладает собственными внесенными в него кодами еще до изготовления карты. Карта — лишь один из способов модификации этой стихийно сложившейся (но ни в коем случае не случайной) упорядоченности². Существенным является то, что системы знаков, создаваемые людьми в местах своего обитания, являются результатом коллективного социального установления, вязко сопротивляющегося всяким изменениям, вносимым отдельными индивидами. Карты фиксируют расстановки знаков и порождают дальнейшие разграничения и обобщения, используя уже сложившиеся семиотики в качестве «исходного материала». Но что они выбирают в качестве наиболее интересного и ценного из всей совокупности знаков человеческого присутствия?

На первый взгляд, ответ на этот вопрос должен содержать в номенклатуре карт. Однако дело осложняется тем, что первые карты были лишены как эксплицированной номенклатуры, так и стандартизированных условных обозначений. Как убедительно показала Кэтрин Делано-Смит, подробно проанализировавшая знаки, употреблявшиеся при изготовлении топографических карт конца XV — начала XVII веков, в них не прослеживается ни малейшей тенденции к стандартизации³. У первых карт не было легенд в техническом смысле этого слова, но означает ли это, что не было никаких вербальных коммуникаций, сопряженных с картами и каким-либо образом поясняющих графические репрезентации карт? Отнюдь нет. Можно даже сказать, что совсем наоборот. Первые карты обладали необъятной и перегруженной «легендой» в виде *травелогов* — отчетов миссионеров, рассказов торговцев, дневников дипломатов, и других письмен-

2. Например, относительно упорядоченности астральных знаков см. нашу статью: *Иванов К. В. Семиология астральных изображений дописьменного периода // Праксема. Проблемы визуальной семиотики. 2021. № 4 (30). С. 81–116.*
3. «Убеждение в том, что в контексте топографических карт, напечатанных в исторический период, предшествовавший Новому времени, была такая вещь, как условный знак, — лишь один из мифов о картографических знаках, приукрашивающих предвзятость современного читателя в отношении топографических знаков как эпохи Ренессанса, так и всей истории картографии» (*Delano-Smith C. Signs on Printed Topographical Maps ca. 1470 — ca. 1640 // The History of Cartography. Chicago; L.: The University of Chicago Press, 2007. Vol. 3. Cartography in the European Renaissance. Pt. 1. P. 529*).

ных свидетельств всех, кто имел возможность и желание странствовать, смотреть и рассказывать. Карты были понятны всем, кто был вовлечен в традицию (а начиная с раннего Нового времени — в моду⁴) чтения рассказов о путешествиях, жанровая принадлежность которых была очень разнообразной⁵.

Если исходить из этой логики, то карта может быть представлена как попытка создать пространство чтения всех возможных путешествий. Она систематизирует материал травелогов, выискивает в них противоречия, устраняет их, исходя из соображений достоверности и композиционной целесообразности, и превращает их в часть более широкой *системы*, где каждому описанию отводится свое особое место, графическим эквивалентом которого можно считать *маршрут*. В каком-то смысле карту можно рассматривать как попытку разместить речь нарратива травелога в системе особого графического языка — создать пространство, в котором могут быть артикулированы все варианты путешествий — как реальные, так и виртуальные. Примечательно в связи с этим, что маршруты, за очень редкими исключениями, не гравировались. Это выглядело бы, с одной стороны, как нарушение логики построения самого пространства карты, в ходе которого использовались сотни описаний самых разнообразных путешествий. Если изображать их все, то они покроют пространство изображения плотной сетью, за которой сложно будет что-либо разобрать, а если изобразить какой-либо один из них, то как определить критерий выбора именно этого, а не другого маршрута? С другой стороны, сам замысел карты как пространства виртуальной реализации любого путешествия требует от маршрута исходной неразличимости. Его можно прочертить на листе уже изданной карты — реализовать одно из бесконечного количества возможных «путешествий», но виртуальная вариативность марш-

4. См. очень качественный анализ вкусовых предпочтений городской среды раннего Нового времени в отношении так называемой книжной культуры в статье: Chartier R. Culture as Appropriation: Popular Cultural Uses in Early Modern France // Understanding Popular Culture: Europe From the Middle Ages to the Nineteenth Century / S. L. Kaplan (ed.). В.; N.Y.: De Gruyter Mouton, 1984. P. 229–253.

5. О неочевидности жанрового определения термина «травелог» и его, так сказать, «полу-» или «не вполне» литературных характеристиках см. в: Майга А. А. Литературный травелог: специфика жанра // Филология и культура. 2014. № 3 (37). С. 254–259; а также в сборнике конференции, посвященной травелогам, с хорошей обобщающей вводной статьей и иллюстрирующими примерами в основном тексте: Травелог: рецепция и интерпретация: сб. ст. СПб.: Свое издательство, 2016.

рута обозначает одновременно и запрет на его явное размещение в системе карт. Он относится к категории не системы, а ее конкретной реализации.

Сказав о маршруте, невозможно не сказать о другом базовом элементе карт, а именно — о *границе*. Помимо описаний путешествий, мы имеем еще один канал вербальной коммуникации, тесно сопряженный с изготовлением карт — описания земель, используемые в фискальных целях, а также жалованные грамоты и писцовые книги, содержавшие, выражаясь юридическим языком, «материальный состав» пожалованного имения: его юридический статус и «обмеры».

Дать Московским торговым Немцам, под их богомолья под избу с комнотою и под двор, где им съезжаться для богомолья по их вере, за земляным городом меж Фроловских и Покровских ворот, из Никитина огорода Зюзина вдоль тридцать сажень, попереч тож тридцать сажень, от земляного города ото рву в двадцати саженьях...⁶

Недостаточность вербальных описаний для точных разграничений наиболее отчетливо выявилась в имущественных спорах. Оказалось, что карта или чертеж спорного участка дают более отчетливое представление о предмете спора, чем слова. И подобные чертежи изготавливались во множестве. В России (или, если быть исторически точным, то в Московии) от половины до двух третей сохранившихся карт XVII века были созданы в связи с административными расследованиями имущественных споров⁷.

В межевых спорах в качестве знаков, отделяющих одни владения от других, могли изображаться (и, соответственно, помечаться в качестве таковых на местности посредством особых «граней» — косых крестов в виде буквы X, выжигаемых на дереве, — отзвуков «поганской крыжи»: неолитической графемы, обозначающей любую предельность) двойной дуб, срубленная осина с новыми ростками, появившимися из пня, раздвоенная сосна на изгибе дороги. Со временем стали использовать искусственно изготавливаемые знаки в виде ям и столбов, старательно помечаемые на картах соответствующими идеограммами пустых круж-

6. Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в государственной коллегии иностранных дел. Часть третья. М.: В типографии Селивановского, 1822. С. 404.

7. Кивельсон В. Картографии царства: Земля и ее значения в России XVII века. М.: НЛО, 2012. С. 43.

ков и коротких утолщенных штрихов. Использование подобных описаний имений в качестве инструмента фискального контроля и выработки категорий централизованного управления⁸ наряду с активизацией имущественных споров на местах привели к выработке нового юридического механизма определения и закрепления недвижимой собственности в виде отмежеванных территорий. Именно в это время возникает действующая поныне юридическая конструкция, в которой система регистрации права недвижимой собственности начинает прочно опираться на кадастр недвижимости, в результате чего записи и описания последнего обретают весомую юридическую силу, а линии, обозначающие границы собственности на карте, плане или чертеже, — исковую неподвижность.

Реализация той же логики, но в более крупных масштабах приводит к появлению понятия «государственная граница». Обострение политических отношений в Евразии и появление нового типа политий в виде зарождающихся национальных государств сопровождалось изготовлением картографических отображений крупных территорий, донесших до нас визуальные свидетельства нацистроительства. Карты знаменитых Абрахама Ортелия и Герарда Меркатора, а также менее известных Кристофера Сакстона, Генриха Целля, Магнуса Гота Олауса и других картографов отчетливо высветили границы территорий, которые обладали политической самостоятельностью и более или менее паритетно участвовали в борьбе за право быть национальным государством. Моравия, Фландрия, Богемия, Саксония, Трансильвания — топонимы, которые до сих пор на слуху. Но были и другие названия, сегодня уже забытые, — Гелдрия, Битуригум, Брабантия. Авторы «больших» карт удостоились прижизненного признания, а в последующем им посвящалась обширная историография. Но, с другой стороны, совсем на другом уровне организации социальной жизни, но в тот же самый исторический период стало возникать несметное количество планов, карт и чертежей поместий и земельных владений, составленных совсем не именитым людом — отставными военными, клириками, чиновниками низшего ранга, имена которых, даже если они сохранились, никому ничего не скажут.

8. *Скотт Дж. К.* Благими намерениями государства. Почему и как проваливались проекты улучшения человеческой жизни. М.: Университетская книга, 2005.

Маршрут и граница задают два предела, два направления «силовых линий», обозначающих пространство квазиэволюции⁹ практик отображения территорий. Действительно, оба этих графических элемента, которые в отличие от *системы* карты мы рискнем назвать *синтагмами*, являются неотъемлемыми элементами структурирования картографического пространства в двух ортогональных направлениях — в направлении его преодоления (маршрут) и в направлении сдерживающих препятствий (граница). При этом первая является принципиально разомкнутой (если не принимать во внимание такие экзотические исключения, как, например, маршрут кругосветного путешествия), а вторая — принципиально замкнутой. Но границы и маршруты — это лишь феноменологические концепты, реализуемые посредством графических знаков, которые, в свою очередь, индуцируются топографическим мышлением. Они вносят порядок в графическую репрезентацию и стабилизируют взгляд, снабжая его рамкой отчетливо угадываемых графических артикуляций, но что на самом деле они отображают? Каков принцип их соотнесения с реальным и осязаемым миром трехмерной земной поверхности? Как «включается» механизм артикуляции, позволяющий появиться топографическому знаку как особому способу взаимодействия с реальностью?

Произвольность и обусловленность знака

Если осуществленный нами семиологический переход корректен, то рисуется следующая картина. Карты возникают как попытка собрать нестройную и многоголосую речь травелогов в единую и стройную систему. И если автором травелога мог стать более или менее кто угодно (географ, дипломат, посол, купец, военный, переселенец, беглый или выкупленный раб, миссионер, паломник и т. д.), то картографы образовывали особый цех, ассоциирование с которым предполагало известную степень образованности и ремесленного мастерства. Сначала между двумя этими разрозненными группами не существовало почти никакой связи, но со вре-

9. В случае картографии сложно говорить об эволюции как о реализации тех или иных наследований. В картографии синхрония довлеет над диахронией, и генетические цепочки, связывающие одно поколение знаков с другими поколениями, предельно ослаблены. Можно лишь эмпирически фиксировать их редукцию и постепенную миграцию в область конвенционального. А наследование, если таковое имело место, носило характер скорее избавления нежели трансформации.

менем стали формироваться зоны соприкосновения, в которых обмен информацией осуществлялся более систематично и осознанно. Обе эти группы были погружены в «гул» знаков, оставляемых людьми в местах своего обитания. Путешествующие считывали эти знаки, множа их семантическое наполнение. Восприятие путешественника непрерывно менялось впечатлениями, рождаемыми в местах его нахождения, и столь же непрерывно интерферировало со всем, чему обычно бывает подвержено восприятие, — эмоциями, верованиями, настроениями, предубеждениями и предшествующим, усвоенным ранее знанием. Затем оно артикулировалось в речь нарратива. Картографы пытались извлечь из широкой совокупности подобных нарративов элементы, поддающиеся графическому переводу в метку на листе карты и разместить полученные метки таким образом, чтобы они отражали не индивидуальное (речь), а систематизированное (язык) представление о мире земной поверхности. Именно в этом контексте нужно говорить о топографическом или картографическом *знаке*. Он является не чем иным, как единством означающего и означаемого в графическом *языке* картографа. Охарактеризуем вкратце особенности этого языка, взяв за основу руководство по семиологии, составленное Роланом Бартом¹⁰.

В отличие от знаков взаимодействия людей с местом своего обитания, которые возникают стихийно, картографический знак создается искусственно в результате одностороннего решения. И в этом смысле он *произволен*. Знаки вырабатываются картографами. И можно увидеть отчетливую корреляцию между изменениями в системах знаков и изменениями в обстоятельствах работы картографов. Например, в случае картографии Ренессанса и раннего Нового времени, когда картографы работали в одиночку и черпали информацию в основном не из собственного опыта путешествий, а из описаний путешественников и базового географического знания, они были вынуждены опираться в основном на *мотивированные* знаки, в которых между означаемым и означающим существует отношение аналогии. Первые картографы мало что изобретали в плане манеры изображения и ориентировались на образцы, уже вовлеченные в циркуляцию символов и знаков, черпая изобразительный материал из бытующей практики отображения обитаемых ландшафтов. Узнаваемость в отсутствие стандартизированных номенклатур и легенд мог-

10. Барт Р. Основы семиологии // Структурализм: «за» и «против». М.: Прогресс, 1975. С. 114–163.

ла быть обеспечена только отсылками к уже укорененным формам визуализации посредством их крохотных симуляций на листе карты. Города рисовались в виде очень маленьких планов с башнями, ратушами, городской стеной; леса — в виде деревьев; горы — в виде кротовых кочек и т. д. В 1802 году, в начале периода Наполеоновских войн, когда в полной мере выяснилась насущность военных рекогносцировок, военными топографами *Le Dépôt de la Guerre* была предложена первая эксплицированная номенклатура карт. Тогда же впервые возникло и понятие «условный знак» (*signe conventionnel*)¹¹. Наконец, к середине XIX века, с упрочением административных позиций генеральных штабов армий, возникновением особого рода военно-дипломатической рефлексии, которую стали называть штабной игрой, и созданием особых подразделений, занимающихся сплошной мензуральной съемкой территорий потенциальных «театров» войны¹², возникает система картографирования, нацеленная на выработку прочных и однозначных картографических номенклатур.

Следующей характеристикой карты как семиологической системы является то, что ее сущность заключается исключительно в том, чтобы означать. У нее нет других утилитарных функций кроме тех, что связаны с означиванием (в отличие, например, от одежды или еды), а значит нет необходимости выделять в качестве особых знаков то, что Барт называл «знаками-функциями». Карты полностью функциональны. На воображаемой шкале, где один край помечен вербальной артикуляцией, а другой буквальным изображением, она гораздо ближе к вербальной артикуляции. Более того, ее означаемые поставлены в связь не только с графическими метками, но и с вербальными означающими. Знаки карт позволяют разворачивать себя в вербальное сообщение с высокой степенью смысловой корреляции и меньшей неопределенностью, чем это имеет место, например, в живописи или в музыке. Вербальные разъяснения на самой карте, за редким исключением, относятся не столько к *узнаванию* того, что там изображено (это вполне однозначно передается самим знаком), сколько к *называнию* — к именам собственным, единичным словам, которые пишутся с большой буквы. То есть знаки карты *изологичны* — их означаемые и означающие нерасторжимо связа-

11. *Delano-Smith C.* Op. cit. P. 529.

12. *Hevia J.* The Imperial Security State. British Colonial Knowledge and Empire-Building in Asia. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. P. 50.

ны не только в графическом знаке, но и в вербальном языке. И, согласно Барту, в изологических системах означаемое материализуется только в форме своего типического означающего.

На первый взгляд, карта может показаться *эпратической* системой, в которой дискретные знаки разделены интервалами, заполненными инертным материалом (в качестве примера Барт приводит систему дорожных знаков). Однако это не так в силу того, что пространство карты, во-первых, масштабировано и, во-вторых (здесь мы выходим за пределы классификации Барта и вводим собственный термин), *локоуникально*. Различные точки карты не равны друг другу, и ни один из ее отрезков или участков (если понимать под ними проекции трехмерных линий и очерчиваемые ими зоны поверхности геоида соответственно) нельзя считать инертным. Каждая точка карты, вне зависимости от ее местоположения, локализована строго определенным и уникальным образом относительно сетки географических координат, задаваемой меридианами и параллелями в той или иной картографической проекции. Как и любая другая система, карта совершает обобщение. Нанося на карту знаки, извлекаемые из описания маршрутов, картограф фиксирует их расстановки иначе, чем путешественник. Он производит новые объекты — нелинейные совокупности знаков, давая представление о них посредством синхронного среза их взаимных расположений. Взаимное расположение — это более сложная конструкция, чем последовательность того, что встречается в ходе путешествия или похода, поскольку в нем линейность начинает восприниматься не как длина пройденного пути, а как пространственный интервал, математически точно определяемый масштаб — инструментом извлечения значения из «пустых пространств». Изучение диахронических цепочек этих срезов является предметом исторической географии.

Совершенно особую роль в картографической семантике играет *цвет*. Можно встретить многочисленные попытки отказаться от него. Действительно, информация, передаваемая цветом (если речь идет именно о географической *основе* карты, без учета ее так называемого специального содержания) существенно вторична. Тем не менее подавляющее количество карт продолжает оставаться цветным. Этот сохранившийся рудимент мотивированности крайне сложно и вряд ли возможно искоренить. Карты и планы покрываются разными красками, более или менее напоминающими естественные цвета предметов на местности. Но цвет может работать и как код. Например, дифференцированное раскраши-

вание пресных (чистая лазурь), соленых (фиолетовый цвет, лазурь с кармином) и горьких (серо-коричневый цвет, сепия с тушью или сиеной) озер в российской военной топографии конца XIX века (отчетливый отзвук вторжения в Казахскую степь). Или, для различения лугов (то есть пространств со скашиваемой травой) и выгонов (где трава не скашивается), первые покрывались в российской военной топографии начала XX века ровной желто-зеленой краской из гуммигута с небольшой примесью лазури, а вторые — серо-синей краской из смеси лазури и туши. Как и всякий другой мотивированный знак, цвет требует от изготовителя карты не только аккуратности, но и известного мастерства. В отличие от графических элементов, для правильного нанесения которых бывает достаточно знакомства с подробной инструкцией и какого-то количества тренировочных попыток, правильное использование цвета (так называемая «иллюминовка») «может быть передана только примером: надо видеть, как пользуется кистью опытная рука»¹³.

Следствием произвольности картографических знаков является то, что совокупность означаемых карт требует от тех, кто ими пользуется, определенных знаний. Ассоциация начертаний и представлений, выражаемая картографическим знаком, является продуктом обучения, но не коллективного, как в случае знаков человеческого обитания, а узко специализированного. Поэтому одна и та же карта может быть неодинаково «дешифрована» разными индивидами, несмотря на то, что «внутренне» она является тщательно выверенным и однозначным языком. В зависимости от опыта и степени компетенции читающего (а также от его осведомленности о других семиотиках, так или иначе задействованных в производстве карт) карта допускает возможность более или менее «глубоких» прочтений. Кроме того, картографический язык нуждается в «семиологическом договоре» — согласии коллективов использовать этот язык в своей коммуникации. Как известно, искусственно созданные языки все же не вполне свободны, поскольку существуют коллективы, пользующиеся этими языками в *речевой* деятельности. И, как показал Барт, коллектив способен контролировать произвольные языки как минимум тремя способами: 1) в процессе рождения новых потребностей; 2) в результате изменения трендов экономических императивов; и 3) в результате различных табу, накладываемых господствующей идеологией в по-

13. Витковский В. Указ. соч. С. 91.

пытке сузить то, что должно считаться «нормальным»¹⁴. За этим скрывается обусловленность картографических знаков.

Как и во всякой другой системе, картографические знаки обладают смыслом лишь в той мере, в какой они являются элементами выстраиваемых из них совокупностей. Если карты и содержат какой-то собственный «внутренний» смысл, то он сосредоточен именно в подобных противопоставлениях и ни в чем больше. Каждый знак замыкает на себя цепочки реально (синтагматически) либо виртуально (парадигматически) соседствующих графических артикуляций и может быть прочитан, а следовательно и понят лишь как какая-то форма аллоэмии. При этом знаки в картографии (во всяком случае, в современной картографии), как правило, не вызывают эффекта немедленного узнавания того предмета, на который они указывают. И, строго говоря, они обозначают не столько отдельные предметы, сколько их совокупности, используя для этого совокупности собственных расстановок. В этом смысле они радикально отличаются от «символов» и больше похожи на элементы речевых синтагм. Рассмотрим варианты «разговорной речи» карт. Какие значения они могут порождать *помимо* тех значений, которые рождает «естественная» вербальная речь, и почему «речь» карт умеет быть столь убедительной?

«Речь» картографии

В свое время Луи Ельмслев высказал радикальное утверждение, что язык, рассмотренный только как форма (он назвал это *схемой*), в достаточной мере безразличен к субстанции своей реализации в речи¹⁵. Помимо привычной артикуляции в виде непрерывного потока звуков, из которых слушающий в меру своей компетенции умеет извлекать какие-то различительные единицы

14. Барт Р. Указ. соч. С. 125–126. Хорошей иллюстрацией третьего способа является запрет на изображение церквей в советской топографии, несмотря на то, что они задают доминирующие высоты и сильно облегчают ориентирование, что заметил еще Эрнст Шумахер (*Harley J. B. The New Nature of Maps: Essays in the History of Cartography*. Baltimore; L.: The Johns Hopkins University Press, 2001. P. 84).

15. См. его статью «Язык и речь» в книге: *Ельмслев Л. Прологомены к теории языка*. М.: Ком Книга, 2006. С. 164–174. А также сами «Прологомены», начиная со с. 121 и далее (глава «Язык и неязык»), где та же мысль выражена в более абстрактных категориях.

и понимать смысл произносимого¹⁶, язык, понимаемый как схема, способен воплощать себя в массе других процессов, количество которых столь же неисчерпаемо, сколь неисчерпаемы сами речь и реальность. Схема относится к сфере нематериальной упорядоченности, хотя различить ее можно только через материальный акт. Для самой схемы важны лишь дифференцирующие отношения, которые она каким-то образом рождает и удерживает посредством взаимозависимостей, детерминаций, констелляций, а также сегментирования и выстраивания иерархий¹⁷. А то, как манифестируется эта схема (будет ли это вербальная речь, язык жестов, морзянка, знаки на пергаменте или бумаге, пища, цветы, одежда, музыка, живопись или совокупности каких-то сочетаний всего вышеперечисленного), это, безусловно, важно с точки зрения *нормы* выражения (материальной формы, определяемой условиями своей реализации, но независимой от деталей этой реализации), но не принципиально для схемы, как способности придавать форму изначально аморфному материалу¹⁸. Не прибегая к строгим аналитическим категориям (таким как гипотеза, принцип, правило и т. д.), выскажем несколько соображений, которые следует воспринимать, скорее, как намерение обозначить выбор *способа* отношения к вопросу о связи карт с языком, а через его посредство — с реальностью и культурой.

Эмпирически мы наблюдаем, что «Большой взрыв»¹⁹ картографирования случился в эпоху зарождения в Евразии размы-

16. См. занимательный пример анализа этого процесса, изложенный в знаменитой книге: *Трубецкой Н. С. Основы фонологии* / Под ред. С. Д. Кацнельсона. М.: Аспект Пресс, 2000. С. 22–34 (вторая часть «Введения»).
17. Терминология взята из «Пролегоменов», хотя сам Ельмслев частично менял ее в ходе своих рассуждений, то вводя понятие «нормы» (для неконкретизируемой субстанции выражения), то отказываясь от нее как от фикции; менял названия терминов для принципов и форм анализа и т. д. Он открыто признавал, что наука о языке находится только на ранней стадии формирования, поэтому избыточная законченность формулировок тут неуместна.
18. Эта мысль более отчетливо формулируется Ельмсловом в его «Пролегоменах»: «Сама по себе „субстанция“ не может быть определена в пределах языка. Мы должны были представить себе совершенно различные субстанции (с точки зрения иерархии субстанции), подчиненные одной и той же языковой форме; это логически вытекает из произвольного отношения между языковой формой и материалом» (*Ельмслев Л. Указ. соч. С. 123*).
19. Сравнение с Большим взрывом не случайно. Подобно тому как на заре формирования Вселенной отделившееся от вещества излучение донесло до нас информацию о существовавших тогда флуктуациях и неоднород-

тых и еще неокончательно оформившихся политий, которые впоследствии превратились в то, что сегодня принято называть национальными государствами. В этот период как вербальная, так и письменная речь неожиданно оказались если не вполне слепыми, то весьма размытыми и двусмысленными в отношении регистрации новых форм отношений соседства и связи людей с местами своего обитания. Есть множество исторических и историко-социологических описаний этого сложного и болезненного процесса, который можно было бы охарактеризовать как повсеместное отсутствие условий для достижения договоренности. Он сопровождался огромным количеством больших и малых войн, окончившихся выработкой установления о территориальной идентичности национальных государств. С этого исторического момента державы стали ассоциироваться не столько со своими суверенами, сколько с занимаемыми ими территориями²⁰. Это стабилизировало ситуацию, поскольку установился определенный регламент регистрации нарушений достигнутых договоренностей, и были сформулированы общепринятые нормы предъявления обоснованных претензий к нарушителям. Корневыми институтами для регистрации подобных конфликтов и выработки легальных форм их разрешения стали институт государственной границы в межгосударственных отношениях и институт кадастровой службы во внутригосударственных административных разбирательствах.

Но граница — это вполне картографическое понятие, причем, как мы убедились ранее, понятие очень важное в картографии. А если это так, то встретим ли мы какие-либо формальные за-

ностями, графические репрезентации территорий, начавшие массово появляться в раннее Новое время, наглядно передали нам политическую структуру Евразии в ее тогдашних, еще не прочно установившихся границах (и неважно, с какой точностью они были отображены).

20. Впервые мысль об особой роли так называемой «территориальности» была отчетливо сформулирована Мишелем Фуко в знаменитом курсе его лекций, изданных впоследствии отдельной книгой: Фуко М. Безопасность, территория, население. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1977–1978 учебном году. СПб.: Наука, 2011. Затем эта мысль была развита Джеймсом Хевия, разработавшим концепцию так называемого «военно-дипломатического диспозитива», позволявшего удерживать военно-политическое равновесие в Европе. Его функциональная роль заключалась в том, чтобы компенсировать рост могущества той или иной державы противопоставлением ей военной силы нескольких государств, вступавших во временный и, как правило, недолговечный союз, который достигался путем ведения переговоров и заключения кратковременных альянсов (*Hevia J. Op. cit.*).

труднения, предположив, что массивованное возникновение карт в этот период являлось какой-то разновидностью *экспансии* языка как схемы в новый еще не освоенный им материал? Это допущение соблазнительно тем, что оно позволяет рассмотреть вопрос о связи карт с языком в более или менее радикальном разрыве с тем, что не имеет к нему непосредственного отношения, то есть рассмотреть этот вопрос имманентно самому языку. Это было бы в какой-то мере похоже на то, что сделал для лингвистики де Соссюр, определив язык, как нечто противопоставленное речи, что превратило традиционных лингвистов в узких специалистов, изучающих не язык, а лишь его многочисленные реализации, то есть не язык как нематериальную схему (чем он, собственно, и является), а материальные манифестации этой схемы, засоренные психологизмом и физикализмом²¹.

Если правомочно рассматривать границу и маршрут как картографические синтагмы, то «речью» карт вполне естественно считать либо *разграничение*, либо *путешествие*. И то и другое требует непосредственного человеческого участия, особым образом размещенного в пространстве между материалом физического мира земной поверхности и его графическими репрезентациями на листе карты. Речь — это *процесс*, карта — это *система*. Между ними существует подвижное взаимодействие, которое, осуществляя переход от одного артикулируемого элемента земной поверхности к другому, позволяет членить «синтагмы» путешествия (либо разграничения) на синтагматические единицы, что

21. То, что карты являются отличным инструментом *риторики*, давно известно и хорошо изучено. Их научно обоснованный авторитет и претензия на объективность позволяют манипулировать восприятием путем умолчаний и производства ложных значений. Джон Харли прекрасно показал, как картографы Новой Англии ухитрились произвести жизнестойкий миф пустого пространства у приграничных рубежей американских колоний, сделав индейское население невидимым на его собственной земле (*Harley J. B. New England Cartography and Native Americans // Idem. The New Nature of Maps. P. 169–195*). Нами также было показано ранее, как «границы», прочерчиваемые на картах степных пространств Центральной Азии, произведенные исключительно географическим воображением, рождали военно-политические аргументы по «смыканию передовых рубежей» либо «сокращению пограничной черты», что неизменно приводило к отторжению чужой территории либо захвату очередного оазиса (*Иванов К. В. Роль военных топографов в колонизации «Русского Туркестана» // Ab Imperio. 2020. № 1. С. 91–129*). Однако в данном случае нас будут интересовать не столько исторические и политические результаты картографических артикуляций, сколько нюансы семиологической системы, позволяющие осуществлять сами эти артикуляции.

одновременно приводит к возникновению у них парадигматических качеств, улавливаемых системой и выявляемых ею во все более отчетливом и уточняющемся виде. Как удачно сформулировал однажды Владимир Каганский (с позиций не столько структурализма, сколько неокантианской герменевтики), путешествие, особенно путешествие теоретика, — совместная деятельная рефлексия карты и ландшафта: ландшафт читается как карта, карта читается как ландшафт.

Но, как предусмотрительно заметил Барт, на первых порах семиология имеет дело не столько с языком, сколько с «нелингвистическим материалом», в котором она рано или поздно наталкивается на «подлинный» язык²². Поэтому в семиологическом анализе пара *язык/речь* должна быть дополнена третьим, «предзначащим», элементом — *материалом*, который служит необходимой опорой для возникновения значения. Роль этого предзначащего нелингвистического материала в картографии, по всей видимости, выполняет особое *чувство* рельефа или чувство ландшафта, а в самом исходном смысле — чувство размещенности в телесной среде земной поверхности, которое разделяется как самими картографами, так и пользователями карт. Это можно также назвать совокупностью психических и физических состояний, мотивируемых пребыванием в среде того или иного антропогеоценоза. Именно на них накладываются формы графических артикуляций, что делает картографический язык востребованным и в каком-то смысле незаменимым, не отторгаемым от телесности самих индивидов, общающихся друг с другом на языке карт. Чем мотивируется такое чувство, объяснить довольно сложно, и по большому счету этот вопрос выходит за рамки нашего рассмотрения. Возможно, оно как-то связано с экономическими вопросами хозяйствования. Возможно, сами войны, использующие тактические свойства рельефа при ведении сражений, обострили и утончили отношение к нему, сделав его своеобразным «собеседником», поскольку война — это один из наиболее интимных и сложно проговариваемых человеческих опытов²³.

22. Барт Р. Указ. соч. С. 115.

23. Строго говоря, здесь необходимо провести подробное источниковедческое исследование. Сколько и каких войн велось в Евразии, начиная, скажем, с XIII века? Насколько мы обеспечены источниками, которые позволили бы репрезентативно выявить статистику этих войн? Такие инструменты нестрогих обобщений, как Википедия, дают следующие числа: XIII век (за исключением идеологически мотивированных крестовых походов в Иерусалим и набегов кочевников) — 26 войн; XIV век — 56 войн, вклю-

Помимо наличия материала (которого нет в лингвистике) Барт считает существенным подчеркнуть несколько моментов, которые обязательно следует учитывать при проведении семиологического анализа. Первое — это семиологический переход (определение того, какие совокупности фактов принадлежат к категории *язык*, а какие — к категории *речь*). И, как мы надеемся, он уже был осуществлен нами в предшествующих главах. В процессе этого перехода, как и предупреждал Барт, исходное сосюрвовское разграничение *язык/речь* претерпевает определенную трансформацию, что как правило приводит к выделению в семиологических (нелингвистических) системах не два, а три плана: материал, язык и речь. В отличие от лингвистики, в семиологии материал может выступать в качестве опоры значения даже в отсутствие речи. Например, последовательно и непрерывно разворачиваемая сплошная мензульная съемка не будет являться речью в ее сосюрвовском понимании. Эту операцию невозможно отнести ни к категории путешествия, ни к категории разграничения. (Скорее, ее можно отождествить с такой гибридной абстрактной конструкцией, как «подвижное место обитания».) Здесь картографический язык работает непосредственно с материалом земной поверхности, придавая ему форму путем уже усвоенных графических артикуляций.

Следующим шагом на пути перехода от лингвистики к семиологии, по мнению Барта, должно стать распределение обнаруженных фактов по двум планам (или осям) языка, открытым Романом Якобсоном²⁴. То есть мы должны определить, какие «высказывания» обладают метафорической доминантой, а какие — метонимической. Если продолжить аналогию с языком, то картографическое высказывание «проведение границы» явно обладает метафорической доминантой. Действительно, проведение границы это всегда выстраивание парадигмы — от очерчивания пограничной

чая столетнюю войну между Англией и Францией; XV век — 64 войны, включая тридцатилетнюю войну роз; XVI век — 84 войны; XVII век — 87 войн; XVIII век — 65 войн. Бросается в глаза резкое снижение количества войн в XVIII веке, когда было выработано установление о территориальной идентичности. Дальше это число снова растет, но уже в силу других причин, поскольку начиная с этого времени получает реализацию логика военно-дипломатического диспозитива и «штабных игр» генеральных штабов национальных армий, что обозначает очаги стратегических противостояний и снова умножает количество войн, ведущихся уже «упорядоченным», а не спонтанным образом.

24. См. его знаменитую статью: *Якобсон Р.* Два аспекта языка и два типа афатических нарушений // *Теория метафоры*. М.: Прогресс, 1990. С. 110–132.

черты национального государства до любого другого типа районирования: вычленения ареалов обитания тех или иных биологических видов; отображения плотности населения в тех или иных областях; оценки процента привитых или не привитых жителей того или иного региона и т. д. «Путешествие», напротив, тяготеет к метонимичности. Оно отражает последовательное вариативное перемещение от одного элемента рельефа к другому с возможностью выбора нового произвольного направления. Пресловутая синтагматическая свобода проявляет себя здесь в полной мере. Хотя, как и в лингвистическом языке, в картографических «высказываниях» можно найти примеры превращения синтагмы в парадигму и наоборот. Например, маршруты паломнического странствования или путешествия по местам боевой славы, а также маршрут, проложенный в сложном рельефе (маршрут восхождения на Эверест) будут обладать явными парадигматическими чертами. С другой стороны, объезд пограничной черты дозором пограничной службы или закольцованная утренняя прогулка по парку, ставшая рутинной привычкой индивидуального режима, это синтагмы, разворачиваемые внутри застывших систем.

Якобсон полагал, что существует определенная связь между эстетикой и нарушением обычного рубежа в оппозиции *синтагма/система*. Барт, в свою очередь, определил эту языковую зону, как пространство минимальной свободы «поэтической» речи²⁵. И в картографии можно найти случаи, когда картографические «высказывания» осуществляются в условиях предельной несвободы, что сообщает четко различаемые парадигматические качества любой синтагме. Наиболее ярким примером является использование тактических свойств рельефа в боевых операциях — где расставить укрепления (провести границы) и в каком направлении осуществить прорыв (проложить маршрут)? В обстановке военного противостояния цена каждого из этих картографических «высказываний» становится чрезвычайно высокой, а умелое их использование оказывается сродни картографической «поэзии». «Штабные игры», в ходе которых вырабатывались основы военной логистики генеральных штабов национальных армий, содержали в себе отчетливые элементы эстетики. Видимо, к той же категории следует отнести и эксперименты с ландшафтным дизайном, провозвестник которого Жак Делиль на-

25. В рассуждении о «синтагматической свободе» и «вероятностях насыщения» синтаксических форм: «...наименьшая степень вероятности будет соответствовать „поэтической“ зоне речи» (Барт Р. Указ. соч. С. 146–147).

писал свои знаменитые «Сады» в канун начала Наполеоновских войн. Существенным здесь является то, что наряду с истинными и красивыми «формулировками» язык карт (как и любой другой язык) может с не меньшей эффективностью породить неточные и неэстетичные «формулировки». Его характеризует принципиальная независимость выстраивания оппозиций от каких-либо специфических целеустановок (эффективности, красоты, риторической суггестивности и т. д.), более того, именно это его качество обеспечивает ему устойчивое существование и превращает его в своеобразную «игру», где обязательно будут как победители, так и проигравшие.

Нам осталось рассмотреть последний вопрос — какой тип семиотики задействован в картографировании — денотативный, коннотативный или же метасемиотика? Вряд ли можно сомневаться в том, что карты представляют собой разновидность метасемиотики, поскольку их означаемые сами являются семиотиками. Коды, присваиваемые обитателями месту своего обитания, а также отношения соседства, которые они друг с другом поддерживают, с одной стороны, существуют до изготовления карт, с другой стороны, детерминируются картами. Эти (местные, локальные) семиотики денотативны, поскольку ни план их содержания, ни план их выражения семиотиками не являются. Планом содержания денотативных семиотик являются коннотаторы, которые, в свою очередь, возникают как план выражения коннотативных семиотик «естественного» языка обитателей той или иной территории. И именно эта денотативная семиотика является планом содержания метасемиотики картографии. То есть, если рассуждать строго в соответствии с логикой, сформулированной Ельмслевом, карты — не что иное, как уже сложившиеся *семиологии*.

Это довольно парадоксальный вывод. Проиллюстрируем его двумя примерами. Карты очевидно выступают языком более высокого порядка описания в отношении местных денотативных семиотик, поскольку они снимают оппозицию узусов национальных языков. Одна и та же карта может с большей или меньшей легкостью быть «прочитана», почти любым оседлым евразийцем, вне зависимости от того, на каком «естественном» национальном языке он говорит. То есть означающие и означаемые карт являются *инвариантами* в отношении *вариантов* означающих и означаемых рельефа на местных языках. Сам факт превращения варианта в инвариант свидетельствует о повышении порядка системы. Если говорить о внутригосударственных отношениях к территориальности, то и здесь видно, каким образом система карт «навязы-

вает» логику поведения отдельным индивидам, зачастую выводя ее за пределы здравого смысла. Например, логику именно схемы, а не индивидуального и прагматичного человеческого действия можно увидеть в том, с какой ожесточенностью велась борьба соседей землевладельцев за так называемые «пустоши» — когда-то обитаемые, но по тем или иным причинам покинутые места. Валери Кивельсон с легким недоумением отметила, что зачастую предметом имущественных споров московитов являлись не естественные богатства мест, а просто геометрические протяженности, *несмотря* на то, что они были по большей части малопривлекательны для обитания²⁶. В силу ограниченности объема статьи, мы остановимся на этих двух примерах, хотя понятно, что их количество можно легко увеличить.

Заключение

Если карты являются уже сложившимися семиологиями, то наука, которая изучает карты, должна формально относиться к категории *метасемиологии*. Действительно, мы видели, что варианты маршрутов и границ в картографии приобрели в нашем исследовании статус инвариантов. Они стали опорными значениями для определения двух осей языка в модели Якобсона и позволили разделить картографические «высказывания» на две фундаментально несхожие категории, одна из которых тяготеет к метафоричности (парадигме), а другая — к метонимичности (синтагме). Попытка взглянуть на карты как на семиологии позволяет сделать еще несколько допущений, корректность которых должна быть проверена последующими исследованиями. Например, если рассматривать генезис возникновения карт как своего рода экспансию схемы языка в новый материал, то, вероятно, нет нужды прибегать к так долго и безуспешно разыскиваемым моделям «эволюции» картографических знаков (от простого к сложному, от грубого к совершенному, от буквального к условному и т. д.)²⁷. Отношения между «поколениями» знаков — это не отношения наследования, а отношения последо-

26. Кивельсон В. Указ. соч. С. 198.

27. Это была общая и доминирующая тенденция отношения к картографическим знакам, характерная для всего XX века: от *Fordham H. G. Maps: Their History, Characteristics and Uses. Cambridge: Cambridge University Press, 1921* до *Harvey P. D. A. The History of Topographical Maps: Symbols, Pictures and Surveys. L.: Thames and Hudson, 1980*, *Imhof E. Cartographic Relief Presentation. B.: De Gruyter, 1982* и др.

вательного и все более подробного «проговаривания». Здесь важны не «мутации», а договоренности, возникающие внутри коллективов, занимающихся созданием и разработкой знаков в одностороннем порядке и предлагающих их обществу в виде готового продукта, качество которого гарантируется исключительно той экспертной компетенцией, которую они, с одной стороны, настойчиво себе приписывают, с другой — предпочитают говорить о ней как о некой самореализующейся объективности, затеняя степень произвольности своих графических решений. Если наши рассуждения справедливы, то говорить об эволюции картографических знаков столь же бессмысленно, как говорить об эволюции моды.

Сложно возражать против того, что ключевым звеном картографической артикуляции является движение руки картографа, вычерчивающего знак. Именно картограф резюмирует все предшествующие наблюдения и описания и готовит почву для грядущих антиципаций. Однако мы считаем принципиально важным подчеркнуть, что это движение регламентируется не ландшафтом как таковым, а набором процедур и предписаний, выработанных внутри цеха специалистов, занимающихся картографированием. Язык картографа не вполне произволен, поскольку в ходе картографирования возникает трехстороннее отношение между, во-первых, картографом, ставящим метку, либо проводящим линию; во-вторых, свидетелем, предоставляющим сведения о предмете картографирования; и в-третьих, целевой аудиторией карты — для кого она, собственно, предназначается. Идеальной является ситуация, когда картограф артикулирует собственный опыт наблюдения (а также измерения либо начертания) для себя же самого, но она реализуется редко. Не все места являются одинаково проницаемыми для путешествия. Поэтому в ходе картографирования выстраиваются цепочки опосредований прото-картографической информации. Иногда они институционализируются в виде каких-либо топографических служб с набором соответствующих техник и инструментов, иногда это просто опросы, иногда — диверсионная работа обученного специалиста под прикрытием, иногда подвиг отдельного исследователя-географа, решившегося посетить опасное и труднодоступное место. Но то, что делает карту картой — это присвоение знака, осуществляемое картографом вручную. Карты существуют как зыбкое, но устойчивое единство, порожденное, с одной стороны, осцилляциями путешествий и разграничений, с другой — генерализациями картографов, вынужденных постоянно следить за меняющейся

ся реальностью антропогеоценозов и за потребностями аудитории, являющейся потребителем результатов их труда²⁸.

Зависимость картографа от аудитории делает карты жанровым продуктом. Не существует карты, которая в одинаковой мере подходила бы всем. Она всегда дорабатывается в зависимости от целевой аудитории. Поэтому *рекогносцировка* — это не случайный элемент картографирования, к которому прибегают в качестве крайней меры, а неотъемлемый, *фундаментальный* ее фактор. В ходе рекогносцировки намечается сценарий артикуляции, позволяющий подчеркнуть и выделить то, что в данной ситуации (и для данной аудитории) является важным, а что — второстепенным и малозначимым. В силу этого количество карт одного и того же участка земной поверхности принципиально неисчерпаемо. Здесь сложно увидеть хоть какой-то вариант насыщения. Произвольный язык картографии будет отзываться на новые потребности коллективов, пользующихся картами, демонстрируя все большую и большую изобретательность.

Библиография

- Барт Р. Основы семиологии // Структурализм: «за» и «против». М.: Прогресс, 1975. С. 114–163.
- Витковский В. Топография. СПб.: Типография Ю. Н. Эрлих, 1904.
- Ельмслев Л. Прологомены к теории языка. М.: КомКнига, 2006.
- Иванов К. В. Роль военных топографов в колонизации «Русского Туркестана» // *Ab Imperio*. 2020. № 1. С. 91–129.
- Иванов К. В. Семиология астральных изображений дописьменного периода // *Праксема. Проблемы визуальной семиотики*. 2021. № 4 (30). С. 81–116.
- Кивельсон В. Картографии царства: Земля и ее значения в России XVII века. М.: НЛО, 2012.
- Майга А. А. Литературный травелог: специфика жанра // *Филология и культура*. 2014. № 3 (37). С. 254–259.
- Скотт Дж. К. Благими намерениями государства. Почему и как проваливались проекты улучшения человеческой жизни. М.: Университетская книга, 2005.
- Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в государственной коллегии иностранных дел. Часть третья. М.: В типографии Селивановского, 1822.
- Травелог: рецепция и интерпретация: сб. ст. СПб.: Свое издательство, 2016.

28. Еще в начале XX века Василий Витковский иронично отметил в своем известном пособии по топографии: «Вообще у готовых карт странное свойство: они оказываются устаревшими, как только в них является надобность» (*Витковский В. Указ. соч. С. 598*).

- Трубецкой Н. С. Основы фонологии / Под ред. С. Д. Кацнельсона. М.: Аспект Пресс, 2000.
- Фуко М. Безопасность, территория, население. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1977–1978 учебном году. СПб.: Наука, 2011.
- Яacobson P. Два аспекта языка и два типа афатических нарушений // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. С. 110–132.
- Chartier R. Culture as Appropriation: Popular Cultural Uses in Early Modern France // Understanding Popular Culture: Europe From the Middle Ages to the Nineteenth Century / S. L. Kaplan (ed.). B.; N.Y.: De Gruyter Mouton, 1984. P. 229–253.
- Delano-Smith C. Signs on Printed Topographical Maps ca. 1470 — ca. 1640 // The History of Cartography. Chicago; L.: The University of Chicago Press, 2007. Vol. 3. Cartography in the European Renaissance. Pt. 1. P. 528–590.
- Fordham H. G. Maps: Their History, Characteristics and Uses. Cambridge: Cambridge University Press, 1921.
- Harley J. B. New England Cartography and Native Americans // Harley J. B. The New Nature of Maps: Essays in the History of Cartography. Baltimore; L.: The Johns Hopkins University Press, 2001. P. 169–195.
- Harley J. B. The New Nature of Maps: Essays in the History of Cartography. Baltimore; L.: The Johns Hopkins University Press, 2001.
- Harvey P. D. A. The History of Topographical Maps: Symbols, Pictures and Surveys. L.: Thames and Hudson, 1980.
- Hevia J. The Imperial Security State. British Colonial Knowledge and Empire-Building in Asia. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
- Imhof E. Cartographic Relief Presentation. B.: De Gruyter, 1982.

NONOBTIOUSNESS OF BELIEVABILITY: AN OUTLINE FOR
THE SEMIOLOGY OF CARTOGRAPHIC IMAGES

KONSTANTIN IVANOV. S. I. Vavilov Institute for the History of Science and Technology, Russian Academy of Sciences (IHST RAS), Moscow, Russia, ikv@ihst.ru.

Keywords: cartography; map; border; route; semiology; semiotics; conventional sign.

The article tries to review the geographical maps as a specific type of semiological system. Application to semiology carried out through two basic cartographic constructs usually denoted in verbal language as “route” and “border.” The paper shows that both these constructs could be considered as a sample of particular cartographic “syntagms” with such “speech” equivalents as travel and demarcation correspondingly. The distinctive attribute of travel (route) is predominantly metonymic type of discourse, while the distinctive attribute of demarcation (border) is predominantly metaphorical one. It is possible to delineate such zones in which one plane overlaps the other and a paradigm extends into syntagm and vice versa. In such zones the cartographic “discourse” assumes distinctly aesthetic dimension. The article determines the main characteristics of maps as facts of a special semiological system, which include arbitrariness, isologicalness and what the author defines as locouniqueness.

The article also considers the types of semiotics involved in mapping. It is shown that since the signifieds of the maps are themselves semiotics (which include the codes assigned by the inhabitants to their habitat), the majority of maps made as part of a routine mapping procedure that does not involve any super-purpose use are nothing more than semiologies. In particular, the signifiers and signifieds of the maps are invariants in contrast to variants of the signifiers and signifieds used by inhabitants in their local languages. It follows that any semiological description of maps is not semiology, but metasemiology. One manifestation of this is the fact that variants of routes and borders in cartography have acquired the status of invariants in our study. They became basic concepts for defining the two axes of the language (according to Roman Jakobson) and made it possible to divide cartographic “statements” into two fundamentally dissimilar categories, one of which tends to be metaphorical (paradigm), and the other to metonymic (syntagm).

DOI: 10.17323/0869-5377-2023-1-131-155